

Александр Иванович
КУПРИН
1870 – 1938

Александр
КУПРИН

Юнкера

Роман



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
К 92

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-09910-4

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“, 2015
Издательство АЗБУКА®

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

ОТЕЦ МИХАИЛ

Самый конец августа; число, должно быть, тридцатое или тридцать первое. После трехмесячных летних каникул кадеты, окончившие полный курс, съезжаются в последний раз в корпус, где учились, проказили, порою сидели в карцере, ссорились и дружили целых семь лет подряд.

Срок и час явки в корпус — строго определенные. Да и как опоздать? «Мы уж теперь не какие-то там полуштатские кадеты, почти мальчишки, а юнкера славного Третьего Александровского училища, в котором суровая дисциплина и отчетливость в службе стоят на первом плане. Недаром через месяц мы будем присягать под знаменем!»

Александров остановил извозчика у Красных казарм, напротив здания четвертого кадетского корпуса. Какой-то тайный инстинкт велел ему идти в свой второй корпус не прямой дорогой, а круглым путем, по тем прежним дорогам, вдоль тех прежних мест, которые исхожены и избеганы много тысяч раз, которые останутся запечатленными в памяти на много десятков лет, вплоть до самой смерти, и которые теперь веяли на него неопишуемой сладкой, горьковатой и нежной грустью.

Вот налево от входа в железные ворота — каменное двухэтажное здание, грязно-желтое и облуплен-

ное, построенное пятьдесят лет назад в николаевском солдатском стиле.

Здесь жили в казенных квартирах корпусные воспитатели, а также отец Михаил Вознесенский, законоучитель и настоятель церкви второго корпуса.

Отец Михаил! Сердце Александра вдруг сжалось от светлой печали, от неловкого стыда, от тихого раскаяния... Да. Вот как это было.

Строевая рота, как и всегда, ровно в три часа шла на обед в общую корпусную столовую, спускаясь вниз по широкой каменной выходящей лестнице. Так и осталось пока неизвестным, кто вдруг громко свистнул в строю. Во всяком случае, на этот раз не он, не Александр. Но командир роты, капитан Яблукинский, сделал грубую ошибку. Ему бы следовало крикнуть: «Кто свистел?» — и тотчас же виновный отошел бы: «Я, господин капитан!» Он же крикнул сверху злобно: «Опять Александров? Идите в карцер, и — без обеда». Александров остановился и прижался к перилам, чтобы не мешать движению роты. Когда же Яблукинский, спускавшийся вниз позади последнего ряда, поравнялся с ним, то Александров сказал тихо, но твердо:

— Господин капитан, это не я.

Яблукинский закричал:

— Молчать! Не возражать! Не разговаривать в строю. В карцер немедленно. А если не виноват, то был сто раз виноват и не попался. Вы позор роты (семиклассникам начальники говорили «вы») и всего корпуса!

Обиженный, злой, несчастный, поплелся Александров в карцер. Во рту у него стало горько. Этот Яблукинский, по кадетскому прозвищу Шнапс, а чаще Пробка, всегда относился к нему с подчеркнутым

недоверием. Бог знает почему? Потому ли, что ему просто было антипатично лицо Александрова, с резко выраженными татарскими чертами, или потому, что мальчишка, обладая непоседливым характером и пылкой изобретательностью, всегда был во главе разных предприятий, нарушающих тишину и порядок? Словом, весь старший возраст знал, что Пробка к Александрову придирается...

Довольно спокойно пришел юноша в карцер и сам себя посадил в одну из трех камер, за железную решетку, на голую дубовую нару, а карцерный дядька Круглов, не говоря ни слова, запер его на ключ.

Издали донеслись до Александрова глухо и гармонично звуки предобеденной молитвы, которую пели все триста пятьдесят кадет:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремение, отверзаючи щедрую руку Твою...» И Александров невольно повторял в мыслях давно знакомые слова. Есть перехотелось от волнения и от терпкого вкуса во рту.

После молитвы наступила полная тишина. Раздражение кадета не только не улеглось, но, наоборот, все возрастало. Он кружился в маленьком пространстве четырех квадратных шагов, и новые дикие и дерзкие мысли все более овладевали им.

«Ну да, может быть, сто, а может быть, и двести раз я бывал виноватым. Но когда спрашивали, я всегда признавался. Кто ударом кулака на пари разбил кафельную плиту в печке? Я. Кто накурил в уборной? Я. Кто выкрал в физическом кабинете кусок натрия и, бросив его в умывалку, наполнил весь этаж дымом и вонью? Я. Кто в постель дежурного офицера положил живую лягушку? Опять-таки я...

Несмотря на то что я быстро сознавался, меня ставили под лампу, сажали в карцер, ставили за обедом

к барабанщику, оставляли без отпуска. Это, конечно, свинство. Но раз виноват — ничего не поделаешь, надо терпеть. И я покорно подчинялся глупому закону. Но вот сегодня я совсем ни на чуточку не виновен. Свистнул кто-то другой, а не я, а Яблукинский, „эта пробка“, со злости накинулся на меня и осрамил перед всей ротой. Эта несправедливость невыносимо обидна. Не поверив мне, он как бы назвал меня лжецом. Он теперь во столько раз несправедлив, во сколько во все прежние разы бывал прав. И потому — конец. Не хочу сидеть в карцере. Не хочу и не буду. Вот не буду и не буду. Баста!»

Он ясно услышал послеобеденную молитву. Потом все роты с гулом и топотом стали расходиться по своим помещениям. Потом опять все затихло. Но семнадцатилетняя душа Александрова продолжала буйствовать с удвоенной силой.

«Почему я должен нести наказание, если я ни в чем не виноват? Что я Яблукинскому? Раб? Подданный? Крепостной? Слуга? Или его сопливый сын Валерка? Пусть мне скажут, что я кадет, то есть вроде солдата, и должен беспрекословно подчиняться приказаниям начальства без всякого рассуждения? Нет! я еще не солдат, я не принимал присяги. Выйдя из корпуса, многие кадеты по окончании курса держат экзамены в технические училища, в межевой институт, в лесную академию или в другое высшее училище, где не требуются латынь и греческий язык. Итак: я совсем ничем не связан с корпусом и могу его оставить в любую минуту».

Во рту у него пересохло и гортань горела.

— Круглов! — позвал он сторожа. — Отвори. Хочу в сортир.

Дядька отворил замок и выпустил кадета. Карцер был расположен в том же верхнем этаже, где и стро-

евая рота. Уборная же была общая для карцера и для ротной спальни. Таково было временное устройство, пока карцер в подвальном этаже ремонтировался. Одна из обязанностей карцерного дядьки заключалась в том, чтобы, проводив арестованного в уборную, не отпуская его ни на шаг, зорко следить за тем, чтобы он никак не сообщался со свободными товарищами. Но едва только Александров приблизился к порогу спальни, как сразу помчался между серыми рядами кроватей.

— Куда, куда, куда? — беспомощно, совсем по-куриному закудахтал Круглов и побежал вслед. Но куда же ему было догнать?

Пробежав спальню и узкий шинельный коридорчик, Александров с разбега ворвался в дежурную комнату; она же была и учительской. Там сидели двое: дежурный поручик Михин, он же отделенный начальник Александрова, и пришедший на вечернюю репетицию для учеников, слабых по тригонометрии и по приложению алгебры, штатский учитель Отте, маленький, веселый человек, с корпусом Геркулеса и с жалкими ножками карлика.

— Что это такое? Что за безобразия? — закричал Михин. — Сейчас же вернитесь в карцер!

— Я не пойду, — сказал Александров неслышным ему самому голосом, и его нижняя губа затряслась. Он и сам в эту секунду не подозревал, что в его жилах закипает бешеная кровь татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с материнской стороны.

— В карцер! Немедленно в карцер! — взвизгнул Михин. — Ссию секунду!

— Не пойду, и все тут.

— Какое же вы имеете право не повиноваться своему прямому начальнику?

Горячая волна хлынула Александрову в голову, и все в его глазах приятно порозовело. Он уперся твердым взором в круглые белые глаза Михина и сказал звонко:

— Такое право, что я больше не хочу учиться во втором московском корпусе, где со мною поступили так несправедливо. С этой минуты я больше не кадет, а свободный человек. Отпустите меня сейчас же домой, и я больше сюда не вернусь! ни за какие коврижки. У вас нет теперь никаких прав надо мною. И все тут!

В эту минуту Отте наклонил свою пышную волосатую с проседью голову к уху Михина и стал что-то шептать. Михин обернулся на дверь. Она была полуоткрыта, и десятки стриженных голов, сияющих глаз и разинутых ртов занимали весь прозор сверху до низу.

Михин побежал к дверям, широко распахнул их и закричал:

— Вам что надо? Чего вы здесь столпились? Марш по классам, заниматься!

И, захлопнув двери, он крикнул на Александрова:

— А вы сию же минуту марш в карцер!

— А я вам сказал, что не пойду, и не пойду, — ответил кадет, наклоня голову, как бычок.

— Не пойдете? Силой потащат! Я сейчас же прикажу дядькам...

— Попробуйте, — сказал Александров, раздувая ноздри.

Но тут Отте, вежливо положив руку на руку Михина, сказал вполголоса:

— Господин поручик, позвольте мне сказать два-три слова этому взволнованному юноше.

— Ах да, пожалуйста! хоть тридцать, хоть двести слов. Черт возьми, что за безобразие! И как раз на моем дежурстве!

Отте начал очень спокойно:

— Милый юноша, сколько вам лет?

— А вам не все ли равно? — дерзко огрызнулся Александров. — Ну, семнадцать...

— Конечно, мне все равно, — продолжал учитель. — Но я вам должен сказать, что в возрасте семнадцати лет молодой человек не имеет почти никаких личных и общественных прав. Он не может вступить в брак. Векселя, им подписанные, ни во что не считаются. И даже в солдаты он не годится: требуется восемнадцатилетний возраст. В вашем же положении вы находитесь на попечении родителей, родственников, или опекунов, или какого-нибудь общественно-го учреждения.

— Ну так что ж? — упрямо перебил его Александров.

— Да только и всего, — равнодушно ответил Отте. — Только и всего, что весь вопрос в том, кто определил вас в корпус.

— Моя мама. Но...

— И никакого «но», — возразил учитель. — Только с разрешения вашей матушки вы можете покинуть корпус, да еще в такое неурочное время. Откровенно, по-дружески, советую вам переждать эту ночь. Утро дает совет — как говорят мудрые французы.

— Ах, да что с ним церемониться? — нетерпеливо воскликнул Михин. — Дядька! Иди сюда!

Умные и участливые слова Отте уже привели было Александрова в мирное настроение, но грубый окрик Михина снова взорвал в нем пороховой погреб. Да и надо сказать, что в эту пору Александров

был усердным читателем Дюма, Шиллера, Вальтер Скотта. Он ответил грубо и, невольно, театрально:

— Зовите хоть тысячу ваших дядек, я буду с ними драться до тех пор, пока я не выйду из вашего проклятого застенка. А начну я с того...

Но тут широкая ладонь Отте мягко зажала ему рот, и он едва успел встряхнуть головой.

— Тише, мальчишка! — крикнул ласково и повелительно Отте. — Помолчи немножко. Господин поручик, — обратился он к Михину, — это не он, а его дурацкий переломный возраст скандалит. Дайте мальчику успокоиться, и все пройдет. Ведь все мы переживали этот козлиный период.

— Покорно благодарю вас, Эмилий Францевич, — от души сказал Александров. — Но я все-таки сегодня уйду из корпуса. Муж моей старшей сестры — управляющий гостиницы Фальц-Фейна, что на Тверской улице, угол Газетного. На прошлой неделе он говорил со мною по телефону. Пускай бы он сейчас же поехал к моей маме и сказал бы ей, чтобы она как можно скорее приехала сюда и захватила бы с собою какое-нибудь штатское платье. А я добровольно пойду в карцер и буду ждать.

Он низко поклонился Отте и сказал:

— Еще раз покорно благодарю вас, Эмилий Францевич. Не можете ли вы попросить за меня, чтобы меня не запирали на ключ. Ей-богу, я не убегу.

— Ах, боже мой! — вскричал Михин, ударив себя по лбу. — У меня голова трещит от этих безобразий! Ну, пускай не запирают. Мне все равно.

Но Александрова в эту секунду дернул черт. Он указал пальцем на Михина и спросил у Отте:

— Вы можете поручиться в том, что меня не запрут?

— Да, могу, могу, — тебя не запрут. Иди с богом, — замахал на него руками Отте. — Иди скорее, бесстыдник. Ну и характер же!

Александрова сопровождал в карцер старый, еще с первого класса знакомый, дядька Четуха (настоящее его имя было Пиотух). Сдавши кадета Круглову, он сказал:

— Велено не запирать на ключ. — И, помолчав немного, прибавил: — Ну и чертенок же!

Александров принял это за комплимент.

Потянулись секунды, минуты и часы, бесконечные часы. Александрову принесли чай — сбитень и булку с маслом, но он отказался и отдал Круглову.

Гораздо позднее узнал мальчик причины внимания к нему начальства. Как только строевая рота вернулась с обеда и весть об аресте Александрова разнеслась в ней, то к капитану Яблукинскому быстро явился кадет Жданов и под честным словом сказал, что это он, а не Александров свистнул в строю. А свистнул только потому, что лишь сегодня научился свистать при помощи двух пальцев, вложенных в рот, и по дороге в столовую не мог удержаться от маленькой репетиции.

А кроме того, вся строевая рота была недовольна несправедливым наказанием Александрова и глухо волновалась. У начальства же был еще жив и свеж в памяти бунт соседнего четвертого корпуса. Начался он из-за пустяков, по поводу жуликоватого эконома и плохой пищи. Явление обыкновенное. Во втором корпусе боролись с ним очень просто, домашними средствами. Так, например, зачистил однажды эконом каждый день на завтрак кулебяки с рисом. Это кушанье всем надоело, жаловались, бросали кулебяки на пол. Эконом не уступал. Наконец строевая

рота на приветствие директора: «Здравствуйте, кадеты» — начала упорно отвечать вместо «здравия желаем, ваше превосходительство» — «здравия желаем, кулебяки с рисом». Это подействовало. Кулебяка с рисом прекратилась, и ссора окончилась мирно.

В четвертом же корпусе благодаря неумелому нажиму начальства это мальчишеское недовольство обратилось в злое массовое восстание. Были разбиты рамы, растерзали на куски библиотечные книги. Пришлось вызвать солдат. Бунт был прекращен. Один из зачинщиков, Салтанов, был отдан в солдаты. Многие мальчики были выгнаны из корпуса на волю божию. И правда: с народом и с мальчиками перекручивать нельзя...

Уже смеркалось, когда пришел тот же Четуха.

— Барчук, — сказал он (действительно, он так и сказал — барчук), — ваша маменька к вам приехала. Ждут около церкви, на паперти.

На церковной паперти было темно. Шел свет снизу из парадной прихожей; за матовым стеклом церкви чуть брезжил красный огонек лампадки. На скамейке у окна сидело трое человек. В полутьме Александров не узнал сразу, кто сидит. Навстречу ему поднялся и вышел его зять, Иван Александрович Мажанов, муж его старшей сестры, Сони. Александров прилгнул, назвав его управляющим гостиницы Фальц-Фейна. Он был всего только конторщиком. Ленивый, сонный, всегда с разинутым ртом, бледный, с желтыми катышками на ресницах. Его единственное чтение была шестая книга дворянских родов, где значилась и его фамилия. Мать Александрова, и сам Александров, и младшая сестра Зина, и ее муж, добродушный лесничий Нат, терпеть не могли этого человека. Кажется, и Соня его ненавидела, но из гордости молчала. Он как-то пришелся не к дому. Вся семья, по како-

му-то инстинкту брезгливости, сторонилась от него, хотя мама всегда одергивала Алешу, когда он начинал в глаза Мажанову имитировать его любимые, привычные словечки: «так сказать», «дело в том, что», «принципиально» и еще «с точки зрения».

Подойдя к Александрову, он так и начал:

— Дело в том, что...

Александров едва пожал его холодную и мокрую руку и сказал:

— Благодарю вас, Иван Александрович.

— Дело в том, что... — повторил Мажанов. — С принципиальной точки зрения...

Но тут встала со скамейки и быстро приблизилась другая тень. С трепетом и ужасом узнал в ней Александров свою мать, свою обожаемую маму. Узнал по ее легкому, сухому кашлю, по мелкому стуку башмаков-недомеров.

— Иван Александрович, — сказала она, — вы спуститесь-ка вниз и подождите меня в прихожей.

— Дело в том, что... — сказал Мажанов и, слава богу, ушел.

— Алеша, мой Алешенька, — говорила мать, — когда же придет конец твоим глупым выходкам? Ну, убежал ты из Разумовского училища, осрамил меня на всю Москву, в газетах даже пропечатали. С тех пор как тебе стало четыре года, я покоя от тебя не знаю. В Зоологический сад лазил без билетов, через пруд. Мокрого и грязного, тебя ко мне привели за уши. Архиепископ не хотел руку поцеловать, сказал, что воняет. А как еще ты князя Кудашева обидел. Смотрел, смотрел на него и брякнул: «Ты князь?» — «Я князь». — «Ты, должно быть, из Наровчата?» — «Да, откуда ты, свиненок, узнал?» — «Да просто: у тебя руки грязные». Легко ли мне было это перетерпеть. А кто извозчику под колеса попал? А кто...

Отношения между Александровым и его матерью были совсем необыкновенными. Они обожали друг друга (Алеша был последышем). Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии.

— Ты все знаешь, мама?

— Все.

— Ну а как же этот дурак?..

— Алеша!

— Как этот болван осмелился заподозрить меня во лжи или трусости?

— Алеша, мы не одни... Ведь капитан Яблукинский твой начальник!

— Да. А не ты ли мне говорила, что когда к нам приезжало начальство — исправник, — то его сначала драли на конюшне, а потом поили водкой и совали ему сторублевку?

— Алеша, Алеша!

— Да, я Алеша... — И тут Александров вдруг умолк. Третья тень поднялась со скамейки и приблизилась к нему. Это был отец Михаил, учитель Закона Божьего и священник корпусной церкви, маленький, седенький, трогательно похожий на святого Николая-угодника.

Александров вздрогнул.

— Дети мои, — сказал мягко отец Михаил, — вы, я вижу, друг с другом никогда не договоритесь. Ты помолчи, ерш ершович, а вы, Любовь Алексеевна, будьте добры, пройдите в столовую. Я вас задержу всего на пять минут, а потом вы выкушаете у меня чая. И я вас провожу..

Тяжеловато было Александрову оставаться с ба-тюшкой Михаилом. Священник обнял мальчика, и долгое время они ходили туда и назад по паперти. Отец Михаил говорил простые, но емкие слова:

— Твоя мамаша — прекрасная мамаша. У меня тоже была мать, и я так же огорчал нередко, как и ты огорчил сейчас свою мамочку. Ну что же? Ты был прав, а он не прав. Но твоя совесть безукоризненна, а он вспомнит однажды ночью случай с тобой и покраснеет от стыда. И потом, смотри — как огорчена мамаша! Что тебе стоит окончить корпус? По крайней мере диплом. А ей сладко. Сыночек вышел в люди. А ты потом иди туда, куда тебе понравится. Жизнь, милый Алеша, очень многообразна, и еще много неприятностей ты причинишь материнскому сердцу. А знай, что первое слово, которое выговаривает человеческий язык, это — слово «мама». И когда солдат, раненный насмерть, умирает, то последнее его слово — «мама». Ты все понял, что я тебе сказал?

— Да, батюшка, я все понял, — сказал с охотной покорностью Александров. — Только я у него извинения не буду просить.

Священник мягко рассмеялся:

— Да и не надо, дурачок. Совсем не надо.

И не так увещания отца Михаила тронули ожесточенное сердце Александрова, как его личные точные воспоминания, пришедшие вдруг толпой. Вспомнил он, как исповедовался в своих невинных грехах отцу Михаилу и тот вздыхал вместе с ним и покрывал его епитрахилью, от которой так уютно пахло воском и теплым ладаном, и его разрешительные слова: «Аз, иерей недостойный, разрешаю...» и так далее. Вспомнил еще (как бывший певчий) первую неделю Андреева стояния. В домашнем подрясничке, в полутьме церкви говорил отец Михаил трогательные слова из канона преподобного Андрея Критского:

«Откуда начну плакати жития моих окаянных деяний? Кое положу начало, Спасе, нынешнему рыданию».

И хор, и вместе с ним Александров, второй тенор, отвечали:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

— А теперь, — сказал священник, — стань-ка на колени и помолись. Так тебе легче будет. И мой совет — иди в карцер. Там тебя ждут котлеты. Прощай, ерш ершович. А я поведу твою маму чай пить.

И неслыханная в корпусной истории вещь: Александров нагнулся и поцеловал руку отца Михаила.

ГЛАВА II

ПРОЩАНИЕ

Проходя желтыми воротами, Александров подумал: «А не зайти ли к батюшке Михаилу за благословением. Новая жизнь начинается, взрослая, серьезная и суровая. Кто же поддержал ласковой рукой бестолкового кадета, когда он, обезумев, катился в пропасть, как не этот маленький, похожий на Николая-угодника священник, такой трогательно-усталый на великопостных повечериях, такой терпеливый, когда ему предлагали на уроках ядовитые вопросы: „Батюшка, как же это? Ведь Бог всеведущ и всемогущ. Он за тысячу, за миллион лет знал, что Адам и Ева согрешат, и, стало быть, они не могли не согрешить. Отчего же Он не мог уберечь их от этого поступка, если Он всемогущ? И тогда какой же смысл в их изгнании и в несчастьях всего человечества?“»

На это отец Михаил четко, сухо и пространно принимается говорить о свободной воле и, наконец, видя, что схоластика плохо доходит до молодых умов, делал кроткое заключение:

— А вы поусерднее молитесь Богу и не мудрствуйте лукаво.

На сердце Александрова сделалось тепло и мягко, как когда-то под бабушкиной заячьей шубкой.

Стоя перед казармой, он несколько минут колебался: идти? не идти? Но какая-то дикая застенчивость, боязнь показаться навязчивым — преодолели, и Александров пошел дальше. Эти чувства нежной благодарности и уютной доброты, связанные с личностью отца Михаила, никогда не забудутся сердцем Александрова. Через четырнадцать лет, уже оставив военную службу, уже женившись, уже приобретая большую известность как художник-портретист, он во дни тяжелой душевной тревоги придет, сам не зная зачем, из Петербурга в Москву, и там неведомый, темный, но мощный инстинкт властно потянет его в Лефортово, в облупленную желтую николаевскую казарму, к отцу Михаилу. Его введут в крошечный кабинет, еле освещенный керосиновой лампой под синим абажуром. Навстречу ему подыметя отец Михаил в коричневой ряске, совсем крошечный и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый, видимо немного обеспокоенный появлением у него штатского, то есть человека из совсем другого, давно забытого, непривычного, невоенного мира.

— Чем могу служить? — спросит он вежливо и суровато, щуря, по старой, милой, давно знакомой Александрову привычке, подслеповатые глаза.

Александров назовет свое имя и год выпуска, но священник только покачает головою с жалостным видом:

— Не помню. Простите, никак не могу вспомнить. Ведь сколько лет, сколько, сколько сотен имен... Трудно все помнить...

Тогда Александров, волнуясь и торопясь, и чувствуя, с невольной досадой, что его слова гораздо гру-

бее и невыразительнее его душевных ощущений, рассказал о своем бунте, об увещевании на темной паперти, об огорчении матери и о том, как была смягчена, стерта злобная воля мальчугана. Отец Михаил тихо слушал, слегка кивая, точно в такт рассказу, и почти неслышно приговаривал:

— Так, так, так. Так, так.

Когда же Александров окончил, батюшка спросил:

— А чем же вы теперь, господин, изволите заниматься?

— Я художник, живописец. Главным образом пишу портреты маслом. Может быть, слышали когда-нибудь: художник Александров?

— Признаться, не довелось слышать, не довелось. Мы ведь в корпусе, как в монастыре. Ну, что же? Живопись — дело благое, если Бог сподобил талантом. Вон святой апостол Лука. Чудесно писал иконы Божией Матери. Прекрасное дело.

Потом, точно снова встревожась, он спросил:

— А что же вам, господин, от меня требуется?

— Да ничего, батюшка, — ответил, слегка опечалась, Александров. — Ничего особенного. Потянуло меня, батюшка, к вам, по памяти прежних лет. Очень тоскую я теперь. Прошу, благословите меня, старого ученика вашего. Восемь лет у вас исповедовался.

Священник ласково улыбнулся, съезжил лицо, ставшее необыкновенно милым:

— Значит, в каком-то классе зазимовали?

— В шестом. И пять лет пел на клиросе. Благословите, отец Михаил.

— Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

Александров поцеловал сухонькую маленькую косточку, и душа его умякла.

— До свидания, батюшка. Простите, что побеспокоил.

— Ничего, дорогой мой, ничего... И меня простите, что не узнаю вас. Дело мое старое. Шестьдесят пятый год идет... Много времени утекло...

Идет юный Александров по знакомым, старинным местам мимо первого корпуса, над большим красным зданием которого высится огромный навес. Тронная зала, построенная Лефортом в честь Петра, в которой по ночам бродили призраки; мимо старинных потешных укреплений, с высокими валами и глубокими рвами. Там крутой спуск к пруду: зимой из него делали славную ледяную гору. Вот первый плац — он огорожен от дороги густой изгородью желтой акации, цветы которой очень вкусно было есть весной, и ели их целыми шапками. Впрочем, охотно ели всякую растительную гадость, инстинктивно заменяя ею недостаток овощной пищи. Ели молочай, благородный щавель, и какие-то просвирки, дудки дикого тмина, и в особенности похожие на редьку корни свербиги, или свергибуса, или, вернее, сурепицы. Чтобы есть эти горьковатые корни с лучшим аппетитом, приносили с собою от завтрака ломоть хлеба и щепотку соли, завернутой в бумажку.

Вот второй плац, отделенный рядом старых, высоченных бальзамических тополей. Как удивительно благоухали в пору экзаменов их липкие блестящие листья и клейкие темные почки! На втором плацу играли в лапту, в городки, в зук, в чехарду и особенно в запрещенную игру — в «кучки», — которая очень часто кончалась переломами и вывихами рук и ног. На этой же площадке пели весенними вечерами свои собственные песни, передававшиеся из поколения

в поколение и часто не совсем цензурные. Отсюда же переругивались, состязаясь в мастерстве брани, с соседями, через забор, учениками фельдшерской школы, которых звали клистирными трубками и рвотным порошком.

За калиткой — третий плац, строевой, необыкновенной величины. Он тянется от корпуса до Анненгофской рощи, где вдали красное здание острога и городская свалка. За Анненгофскую рощу удирали отчаянные храбрецы ранней весной, чтобы выкупаться в студеной воде узенькой речушки Синички и выскокить из нее, посинев от холода, лязгая зубами и трясясь всеми суставами. У калитки, весной, всегда останавливается разносчик Егорка с тирольскими пирожками (пять копеек пара), похожими видом на куски черного хлеба, очень тяжелыми и сытными. Здесь же, у калитки, на утренней прогулке, семиклассники дожидались проезда ежедневного дилижанса, в котором, вдоль, слева и справа, сидели премиленькие девочки разных возрастов и в разных костюмах. Это — местные лефортовские ученицы ездили в город, в гимназию госпожи Перепелкиной, отчего и их самих коротко и ласково называли «перепелками». Немножко кокетничать с ними — это была неотъемлемая и строго охраняемая привилегия седьмого класса. Когда дилижанс равнялся с калиткой, то в него летели скромные дары: крошечные букетики лютиков, вероники, иван-да-марьи, желтых одуванчиков, желтой акации, а иногда даже фиалок, набранных в соседнем ботаническом саду с опасностью быть пойманным и оставленным без третьего блюда. Бросались иногда и стишки в бумажке, сложенной пелушкой:

Лишь только Феб осветит елки,
Как уж проснулись перепелки,
Спешат, прекрасные, спешат.
На нас красотки не глядят.
А мы, отвергнутые, млеем,
Дрожим и даже пламенеем...

Быстрым зорким взором обегает Александров все места и предметы, так близко прилепившиеся к нему за восемь лет. Все, что он видит, кажется ему почему-то в очень уменьшенном и очень четком виде, как будто бы он смотрит через обратную сторону бинокля. Задумчивая и сладковатая грусть в его сердце. Вот было все это. Было долго-долго, а теперь отошло навсегда, отпало. Отпало, но не отболело, не отмерло. Значительная часть души остается здесь, так же как она остается навсегда в памяти.

Как много прошло времени в этих стенах и на этих зеленых площадках: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как долго считать, а ведь это — годы. Что же жизнь? Очень ли она длинна или очень коротка?

Все вечный вопрос. Настанет минута, когда бессонною ночью Александров начнет считать до пятидесяти четырех и, не досчитав, лениво остановится на сорока. «Зачем думать о пустяках?»

ГЛАВА III

ЮЛИЯ

По «черному» крыльцу входит Александров в полутемную прихожую, где всегда раздевались приезжавшие учителя. Встречает его древний, седой в про-

зелень, весь какой-то обомшелый будничный швейцар по кличке Сова.

— Здравия желаю, господин юнкер, — сипит он астматическим махорочным голосом.

Александров еще в кадетской форме; ему еще довольно далеко до настоящего юнкера, но так лестно звучит это гордое звание, что рука невольно тянется в карман за последним, единственным гривенником.

— Пожалуйте в лазаретную приемную, — говорит Сова. — Там приказано собраться всем отпусчным.

Александров идет в лазарет по длинным, столь давно знакомым рекреационным залам; их полы только что натерты и знакомо пахнут мастикой, желтым воском и крепким, терпким, но все-таки приятным потом полотеров. Никакие внешние впечатления не действуют на Александрова с такой силой и так тесно не соединяются в его памяти с местами и событиями, как запахи. С нынешнего дня и до конца жизни память о корпусе и запах мастики останутся для него неразрывными.

Уже восьмой раз в своей жизни испытывает Александров заранее то волнение, которое всегда овладевало им при новой встрече с близкими одноклассниками после полутора месяцев летнего отпуска. Как сладко рассказывать и как интересно слушать о бесконечно разнообразных летних впечатлениях! Тут все ново и увлекательно. Один целое лето ловил шук на жерлицу, на блесну и на огонь, острогою. Другому подарили лошадь, и он верхом травил зайцев с борзыми. У третьего в имении его родителей археологи разрыли древний могильник и нашли там много костей, древней утвари, орудия и золотых украшений, которые от времени и пребывания в земле покрылись

зеленою явью. Четвертый был свидетелем большого лесного пожара и того, как убивали бешеную собаку. Следующий говорил гордо о том, как ему шурин Стася, Великий Охотник, подарил настоящую двустволку; правда — шомпольную, но знаменитого завода «Гастин-Ренетт». Таких редких ружей осталось во всем мире всего только, может быть, пять или шесть. Счастливый обладатель этого сокровища не расставался с ним ни на минуту и даже, ложась спать, укладывал его с собою в постель. А какие были купанья! Особенно на утренней заре, когда розовая вода так холодна и так до дрожи сильно и радостно пахнет. Какие злые, шипучие были черные в зелень раки! А березовая роща с грибами, черникой, брусникой и гонобобом! А сосновый лес, где рыжики, и ароматная дикая малина, и белки, и ежевика, и сами ежи, колючие недотроги! А кроткие домашние животные и зверюшки!

Эти разговоры велись обыкновенно вечером, в полутемной спальней, на чьей-нибудь койке. Они на много-много дней скрашивали монотонное однообразие жизни в казенном закрытом училище, и была в них чудесная и чистая прелесть вновь переживать летние впечатления, которые тогда протекали совсем не замечаемые, совсем не ценимые, а теперь как будто по волшебству встают в памяти в таком радостном, блаженном сиянии, что сердце нежно сжимается от тихого томления и впервые крадется смутно в голову печальная мысль: «Неужели все в жизни проходит и никогда не возвращается?»

Есть и у Александрова множество летних воспоминаний, ярких, пестрых и благоуханных; вернее — их набрался целый чемодан, до того туго-туго набитый, что он вот-вот готов лопнуть, если Александров

не поделится со старыми товарищами слишком грузным багажом... Милая потребность юношеских душ!

И на прекрасном фоне золотого солнца, голубых небес, зеленых рощ и садов — всегда на первом плане, всегда на главном месте *она*; непостижимая, недостижимая, несравненная, единственная, восхитительная, головокружительная — Юлия.

Но Юлия, это — только человеческое имя. Мало ли Юлий на свете. Вот даже есть в обиходе такой легонький стишок:

Хожу ли я, брожу ли я,
Все Юлия да Юлия.

Правда, Александров, немножко балующий стишками, пробовал иногда расцветить, углубить это двухстрочие:

В июне и в июле я
Влюблен в тебя, о Юлия!

На зов твой не бегу ли я
Быстрее пули, Юлия?

И описать смогу ли я
Красы твои, о Юлия!

И так далее и так далее...

Но чего стоят вялые и беспомощные стишки? И настоящее имя ее совсем не Юлия, а скорее Геба, Гера, Юнона, Церера или другое величественное имя из древней мифологии.

Она высока ростом: на полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие темные глаза и темнота нижних век заставляют Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет: «волоокая».

На дачном танцевальном кругу, в Химках, под Москвою, он был ее постоянным кавалером в вальсе, польке, мазурке и кадрили, уделяя, впрочем, немного благосклонного внимания и ее младшим сестрам, Ольге и Любе. Александров отлично знал о своей некрасивости и никогда в этом смысле не позволял себе ни заблуждений, ни мечтаний; но еще с большей уверенностью он не только знал, но и чувствовал, что танцует он хорошо: ловко, красиво и весело.

Ах! Однажды его великая летняя любовь в Химках была омрачена и пронзена зловещим подозрением: с горем и со стыдом он вдруг подумал, что Юленька смотрит на него только как на мальчика, как на желторотого кадетика, еще даже не юнкера, что кокетничает она с ним только от дачного «нечего делать» и что если она в нем что-нибудь и ценит, то только свое удобство танцевать с постоянным партнером, неутомимым, ловким и находчивым; с чем-то вроде механического манекена.

Со жгучей злобой, не потерявшей свежести даже и теперь, вспоминает Александров этот тяжелый момент.

В семье трех сестер Синельниковых, на даче, собиралось ежедневно множество безусой молодежи, лет так от семнадцати и до двадцати: кадеты, гимназисты, реалисты, первокурсники-студенты, ученики консерватории и школы живописи и ваяния и другие. Пели, танцевали под пианино, в *petits jeux*¹ и в каком-то круговоротном беспорядке влюблялись то в Юленьку, то в Оленьку, то в Любочку. И всегда там хохотали.

Приходил постоянно на эти невинные забавы некто господин Покорни. Сверстникам Александрова

¹ Салонные игры (*фр.*).

он казался стариком, хотя вряд ли ему было больше тридцати пяти лет: таков уж условный масштаб юности. Надо сказать, что в этой молодой и веселой компании господин Покорни был не только не нужен, но, пожалуй, даже и тяжел. Он был длинен, как жираф; гораздо выше Юленьки, и когда танцевал, то беспрестанно бил свою даму острыми коленками. Он не умел смеяться и часто грыз в молчании ногти. Если в «почте» его спрашивали: «А ваша корреспонденция?» — он отвечал: «Да я не знаю, что написать». Вообще он наводил уныние. Про него знали только то, что у него в Москве большой магазин фотографических принадлежностей. И был он вместе с бесцветным лицом, с фигурой и костюмом весь в продольных и вертикальных морщинах.

В Троицын день на Химкинском кругу был назначен пышный бал — gala. Военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ригурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привсталала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый Покорни, изогнувшись над Александровым, протянул руку Оленьке. И она — о ужас! — отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа.

— Позвольте, — сдержанно, но гневно воскликнул Александров. — Послушайте!

Но Юленька и Покорни уже вертелись — благодаря косолапому кавалеру не в такт.

У Александрова так горько стало во рту от злобы, точно он проглотил без воды целую ложку хинина.

Чтобы не быть узнанным, он сошел с танцевального круга и пробрался вдоль низенького забора, за

которым стояли бесплатные созерцатели роскошного бала, стараясь стать против того места, где раньше сидела Юленька. Вскоре вальс окончился. Они прошли на прежнее место. Юленька села. Покорни стоял, согнувшись над нею, как длинный крючок. Он что-то бубнил однообразным и недовольным голосом, как будто бы он шел не из горла, а из живота.

«Точно чрево вещатель, — подумал Александров. — Должно быть, у всех подлецов такие противные голоса».

Юленька молчала, нервно распуская и сжимая свой веер. Потом она очень громко сказала:

— Сто раз я вам говорила — нет. И значит — нет. Проводите меня к папан. Нужно всегда думать о том, что делаешь.

Александров густо покраснел в темноте:

— Боже мой, неужели я подслушиваю!

Еще долго не выходил он из своей засады. Остаток бала тянулся, казалось, бесконечно. Ночь холодела и сырела. Духовая музыка надоела; турецкий барабан стучал по голове с раздражающей ритмичностью. Круглые стеклянные фонари светили тусклее. Висячие гирлянды из дубовых и липовых веток опустели беспомощно свои листья, и от них шел нежный, горьковатый аромат увядания. Александрову очень хотелось пить, и у него пересохло в горле.

Наконец-то Синельниковы собрались уходить. Их провожали: Покорни и маленький Панков, юный ученик консерватории, милый, белокурый, веселый мальчуган, который сочинял презабавную музыку к стихам Козьмы Пруткова и к другим юмористическим вещцам. Александров пошел осторожно за ними, стараясь держаться на таком расстоянии, чтобы не слышать их голосов.

Он слышал, как все они вошли в знакомую, канареечного цвета дачу, которая как-то особенно, по-домашнему, приютилась между двух тополей. Ночь была темная, беззвездная и росистая. Туман увлажнял лицо.

Вскоре мужчины вышли и у крыльца разошлись в разные стороны. Погас огонек лампы в дачном окне: ночь стала еще чернее.

Александров ничего не видел, но он слышал редкие шаги Покорни и шел за ними. Сердце у него билось-билось, но не от страха, а от опасения, что у него выйдет неудачно, может быть даже смешно.

Не доходя до лаун-теннисной площадки, он мгновенно решил. Слегка откашлялся и крикнул:

— Господин Покорни!

Голос у него из-за тумана прозвучал глухо и плоско. Он крикнул громче:

— Господин Покорни!

Шаги Покорни стихли. Послышался из темноты точно придушенный голос:

— Кто такой? Что нужно?

Александров сделал несколько шагов к нему и крикнул:

— Подождите меня. Мне нужно сказать вам несколько слов.

— Какие такие слова? Да еще ночью?

Александров и сам не знал, какие слова он скажет, но шел вперед. В это время ущербленный и точно заспанный месяц продрался и выкатился сквозь тяжелые громоздкие облака, осветив их сугробы грязно-белым и густо-фиолетовым светом. В десяти шагах перед собою Александров смутно увидел в тумане неестественно длинную и худую фигуру Покор-

ни, который, вместо того чтобы дожидаться, пятился назад и говорил преувеличенно громко и торопливо:

— Кто вы такой? Что вам от меня надо, черт возьми?

Голос у него вздрагивал, и это сразу ободрило юношу. Давид снова сделал два шага к Голиафу:

— Я — Александров. Алексей Николаевич Александров. Вы меня знаете.

Тот ответил с принужденной грубостью:

— Никого я не знаю и знать не хочу всякую дрянь.

Но Александров продолжал наступать на пятившегося врага:

— Не знаете, так сейчас узнаете. Сегодня на кругу вы позволили себе нанести мне тяжелое оскорбление... в присутствии дамы. Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинение, или...

— Что — или? — как-то по-заячьи жалобно закричал Покорни.

— Или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках!

Вызов вышел эффектно. Какого рода оружие имел в виду кадет — а через неделю юнкер Александров, — так и осталось его тайной, но боевая фраза произвела поразительное действие.

— Мальчишка! щенок! — завизжал Покорни. — Молоко на губах не обсохло! За уши тебя драть, сопляка! Розгой тебя!

Всю эту ругань он выпалил с необычайной быстротой, не более чем в две секунды. Александров вдруг почувствовал, что по спине у него забегали холодные щекотливые мурашки и как-то весело потеплело темя его головы от опьяняющего предчувствия драки.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Глава I. Отец Михаил	5
Глава II. Прощание	18
Глава III. Юлия	23
Глава IV. Бесконечный день	34
Глава V. Фараон	40
Глава VI. Танталовы муки	47
Глава VII. Под знамя!	60
Глава VIII. Торжество	70
Глава IX. Свой дом	76
Глава X. Вторая любовь	87
Глава XI. Свадьба	95
Глава XII. Господин писатель	104
Глава XIII. Слава	114
Глава XIV. Позор	127

ЧАСТЬ II

Глава XV. Господин обер-офицер	137
Глава XVI. Дрозд	146
Глава XVII. Фотоген Павлыч	158
Глава XVIII. Екатерининский зал	167
Глава XIX. Стрела	174
Глава XX. Полонез	181
Глава XXI. Вальс	187
Глава XXII. Ссора	194
Глава XXIII. Письмо любовное	206

Глава XXIV. Дружки	215
Глава XXV. Rendez-vous	224
Глава XXVI. Чистые Пруды	236

ЧАСТЬ III

Глава XXVII. Топография	256
Глава XXVIII. Последние дни	270
Глава XXIX. Травля	282
Глава XXX. Производство	297
Глава XXXI. Напутствие	311

Куприн А.

К 92 Юнкера : роман / Александр Куприн. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 320 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-09910-4

Александр Куприн — один из самых известных мастеров прозы XX века. Увлекательные сюжеты, яркие, запоминающиеся характеры, точно подмеченные бытовые детали, разнообразие интонаций, лиризм в сочетании с предельной реалистичностью — характерные черты стиля этого замечательного рассказчика. После революции, в 1919 году, А. И. Куприн уехал из России. В эмиграции он создал одно из лучших своих произведений — автобиографический роман «Юнкера», который стал своеобразным итогом военной темы в творчестве писателя («На переломе», «Поединок», «Штабс-капитан Рыбников» и др.). Находясь вдали от родины, он воскрешает образы далекого прошлого, вспоминая свою юность, учебу в Александровском военном училище, друзей и близких. «Я хотел бы, — говорил Куприн, — чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. „Юнкера“ — это мое завещание русской молодежи».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

АЛЕКСАНДР КУПРИН
ЮНКЕРА

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Екатерины Киселевой
Корректор Светлана Федорова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 07.09.2016. Формат издания 75 × 100¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 14,1.
Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



ААКВ1793702R

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/